ДЕТИ ВОЙНЫ

Виталий КИРПИЧЕНКО

НАД ОКОШКОМ МЕСЯЦ

Дети войны

Виталий Кирпиченко

Над окошком месяц

«Четыре четверти»
2020

Кирпиченко В.

Над окошком месяц / В. Кирпиченко — «Четыре четверти», 2020 — (Дети войны)

ISBN 978-985-581-196-2

Дети войны. Кто они? Как и чем жили в те страшные годы? Кем стали выжившие? Герою повести не было и пяти лет, когда отец ушел на войну. К голоду и холоду прибавилась тревога за него. В семь лет – подпасок, в девять – на двух лошадях бороновал землю… Школа, военное училище. Служба в семи округах. Непросто складывалась жизнь у офицера военно-воздушных сил. Повесть написана простым языком, в ней много и смешного, и трагического. «Заражена» оптимизмом и любовью к людям.

ISBN 978-985-581-196-2

© Кирпиченко В., 2020
© Четыре четверти, 2020

Содержание

Отчий дом 6
Курсанты-лейтенанты 18
Конец ознакомительного фрагмента. 32

Виталий Кирпиченко
Над окошком месяц
Документально-художественная повесть

© Кирпиченко В., 2020
© ОДО «Издательство “Четыре четверти”», 2020

Отчий дом

Я, к сожалению, не могу похвастать тем, что сидел под развесистым дубом с мудрецом – старцем Толстым, что бродил по тёмным аллеям с Иваном Буниным, до слёз смеялся, слушая Антошу Чехонте. Не распивал чаи с маршалами, хотя служил честно и добросовестно долгих тридцать лет и три года! Хуже того, и с современными светилами я не близок. Получается, что и поведать миру нечего? Ан нет, попробую. Авось, кому-то будет интересно – прожито и видано немало.

Родился я в маленькой сибирской деревеньке под названием Толстовка, и когда вспоминаю мою маленькую родину, мою большую Сибирь, а это случается всё чаще и чаще, то я, прежде всего, вижу холодные бело-голубые крыши, над ними, тоже вымороженный, – блестящий месяц. Белое небо, ясный месяц и чёрный лес вокруг деревеньки да ещё завывание вьюги остались в моей памяти навечно. Забылось многое, а это не вытравить, и каждый раз при воспоминании «рисуются» картины моей родины всё ярче и красочней.

Зимой, перед самой войной, мы (отец, мама, сестра Лиза и я) переехали в русское село Покровку (Толстовка – белорусское поселение), которое прилепилось к северной окраине районного посёлка с названием явно бурятского происхождения – Баяндай. Помню, был морозный день, казалось, что и воздух смёрзся до кисельной густоты. Весь наш скарб вместился в пару саней: на первых ехали мама с папой, при них был сундук, на вторых – мы с Лизой, а с нами, задрав ноги кверху, ехал стол-курятник. Нас закутали так, что даже щелочки для глаз не оставили, а поверх ещё прикрыли шубой из козульего меха. Именно козульего, а не козьего и не косульего, потому что сибиряки козулей называют косулю. Там даже фамилии такие есть – Козулины.

Сани потрескивают от мороза, полозья свистят, пищат, повизгивают, лошади фыркают заиндевевшими ноздрями и швыряют ледяные комья из-под копыт поверх наших шуб. Раскатанная дорога бросает сани из стороны в сторону, и мы с сестрой прижимаемся то к одному бортику, то к другому. На полпути наш поезд останавливается, и мы слышим голос мамы: «Вы живы тут? Не замёрзли? Ногам не холодно?» Наше мычание принимается родителями как свидетельство того, что дети живы, и мы продолжаем свой путь…

Война застала и нас врасплох. С отцом мы сбегали в лавку за водкой, точнее, бежал я, не поспевая за его широкими шагами, вечером пришли к нам соседи, а утром отец уезжал на войну. Я, всё ещё не понимая, что происходит, каким-то особым чутьём воспринимал всю эту круговерть с провожанием, слезами, воем собак, «рыданиями» гармошек, пьяными криками мужиков как что-то ужасное, непоправимое. Я понимал, что и отец как-то связан с этим страшным событием…

Машина увозила отца с мужиками, а я плакал и бежал за ней по пыльной горячей дороге, пока она не скрылась за кромкой леса.

Наша избушка осталась без хозяина, без изгороди, без печи, без утеплённых окон и дверей и растерянно глядела по сторонам с пригорка, обдуваемого семью ветрами.

Печь нам сварганил непригодный для войны дедок, вмазав сверху, вместо недостающих кирпичей, большущий, плоский красный камень – сланец. Этот камень был моим спасением в жестокие сибирские морозы, когда длинными ночами я задыхался от раздирающего грудь сухого кашля. Тогда вставала мама, топила печку, кипятила молоко, поила и журила одновременно своего непоседливого сына, чьи разбитые валенки латал слепой сосед через день, а то и каждый день. Напоив молоком, она подсаживала меня на печь, где я уже самостоятельно мостился на горячий камень, как котёнок на солнечное пятно на подоконнике. Кашель на время отпускал меня, и я засыпал под свирепый вой вьюги в трубе.

А над нашей заснеженной избушкой висел рогатый ясный месяц.

Зимой было не только холодно, но и голодно. Единственный мешок ржи, выданный колхозом за трудодни, было большой проблемой перемолоть в муку. Но вот и до нас дошла очередь, маме дали лошадёнку и сани, мы проводили её в путь.

Остался я с Лизой, ей в то время исполнилось уже десять лет, а мне – пять. Остались одни, без хлеба, соли, с кучкой дров, мгновенно проглоченных прожорливой «буржуйкой».

Прошла неделя, а мамы всё нет.

Ночью, воровски таясь, мы с Лизой брели по глубокому снегу, нагребая его в валенки, к дальней колхозной изгороди. Брали по жёрдочке из этой изгороди и тянули окольными путями, чтобы запутать следы своего тяжкого преступления. Во дворе, при свете глазастой Луны-свидетельницы, распиливали огромной пилой эти жёрдочки, сестра при этом справедливо возмущалась моему неумению, которое заключалось в том, что я не тянул пилу, а бегал за ней, как привязанный. Потом, когда печка раскалялась и сверкала со всех сторон прожженными боками, мы степенно садились у источника тепла, нарезали тонкими пластинками картошку и обклеивали ими сверху и по бокам всю её поверхность. Отскочившие пузырчатые кружочки тут же съедались без соли и прочих приправ. Когда животы наполнялись приятной тяжестью, нас клонило в сон…

Охраняя нас, в ледяное окно избушки то и дело заглядывал серебристый беспокойный месяц.

Утром Лиза убегала в школу, и я не оставался без дела: или стругал что-либо изношенным ножом, или рисовал огрызком карандаша, всунутым для удобства в винтовочную гильзу. Рисовал домик с забором, трубу с дымом, ёлку под крыльцом и, конечно же, танки и самолёты со звёздами – такие же, только с крестами, горящими на всём пространстве, о чём свидетельствовало обилие дыма вокруг крестатой техники. Так я помогал своим бить врага.

В конце второй недели нашего одиночества наведался дед – пришёл узнать, что стряслось с нашей мамой, ведь в то время и за фунт муки лишиться жизни было делом простым. Он застал нас в обычном состоянии: я стругал щепку, стараясь придать ей форму пропеллера, а Лиза, подметая пол, напевала патриотическую песенку про замёрзшую воду во фляге солдата. Деда возмутило наше безразличие к судьбе мамы, он стал ругать и стыдить Лизу, что та «распевае писни, кали маты немае в живых». Мы в это сразу же поверили и разревелись в голос. До этого каждый день мы её ждали, выглядывая в отогретые горячими нашими ладошками проталины в стёклах оконца, выходящего на дорогу, и у нас даже мысли не было, что с мамой может что-то случиться.

Дед ушёл в свою деревню, а мы опять остались одни, только уже с чувством страха за нашу маму. Дед тогда почему-то не принёс своим голодным внукам краюхи хлеба или кусочка сала, видать, спешил, а в спешке и позабыл. И вообще, к нам в эти дни никто не заглядывал, кроме соседки тёти Маруси.

Семья тёти Маруси, как и наша, перебивалась с трудом, несмотря на то, что её муж, дядя Саша (так все звали Эликса Маркуса, пленённого в 1914 году гусара венгерской армии, партизана отряда Каландрашвили, первого председателя колхоза «Путь Сталина», лучшего сапожника в округе), не был взят в армию и был при семье. Не взяли по известной причине – недоверие. Доверили защищать Родину его пятнадцатилетнему сыну Саше, для чего тому пришлось добавить себе парочку лет. Помню, как беспокоилась и переживала тётя Маруся за сына. Она приходила к нам и изливала своё горе маме: «Он же такой маленький, совсем ребёнок, как он там?» Мама, как могла, успокаивала, уверяла, что маленькому проще спрятаться от пули и что он обязательно вернётся домой. Не вернулся. Погиб. Погиб при обороне далёкого Севастополя.

Второй сын, Вилька, работал на авиационном заводе в городе Иркутск-2. Володька и Витька подросли и уехали к брату на завод, но это уже после войны. Глазастые, густо по-мадьярски чернявые дочери Нина и Люба оставались всё время при родителях. Люба, будучи карапузом, предала своего отца, когда тот прятался в очередной раз за печкой от заказчика, прие-

хавшего за готовыми сапогами, когда они не были ещё раскроены. Больше часа тихой мышью сидел за спасительницей-печью наш сапожник, выжидая, когда же надоест заказчику ждать хозяина, и он, в очередной раз тяжело вздохнув, уедет в далёкий свой улус без красивых и добротных сапог.

Любка, мурлыкая что-то, ползала по полу, забавляла себя, как умела, до тех пор, пока ей чего-то не захотелось, что без родителя она не могла сделать. Тогда она с бесконечными «па-па-па-па, пи-пи-пи…» устремилась в схорон отца. Любопытствуя, заглянул туда и заказчик…

Сапожное дело дяди Саши не приносило зримого дохода, потому что большинство сибиряков обходилось самошитыми ичигами, не до шика тогда было. Приходилось дяде Саше «крутиться», чтобы прокормить свою большую семью. Был он величайшей честности и порядочности человек, что и усугубляло его тяжёлое экономическое положение.

Дядя Саша умер, прожив около ста лет, к нему приезжали из Венгрии журналисты, каким-то образом прознавшие о его существовании, он даже, говорят, спел им песенку на родном языке.

Всё трудное время, и военное, и послевоенное, мы поддерживали друг друга: то они нам мисочку муки, то мы им криночку молока. Славные были люди.

А с мамой была простая история: её, слабую и застенчивую, выталкивали из очереди наглые буряты.

До семилетнего возраста я был предоставлен сам себе. Вот когда было полное наслаждение свободой! Чем мы только не занимались! Набеги на колхозные, реже – на частные, огороды. Морковь – главный продукт охоты, пониже рангом – репа, турнепс, капуста. Всё уметалось за милую душу.

В жаркие дни убегали в лес. Заострёнными палочками выкапывали клубни саранок. Очень вкусная пища! И под конец, на десерт, так сказать, мы высасывали нектар из кувшинок голубеньких цветков, названия которых я не знаю.

Для развлечения гонялись за сусликами и бурундучками. Их было в горячей степи и берёзовых перелесках полным-полно. А чтобы удовлетворить окончательно своё любопытство, познать, чем же интересным занимаются взрослые, мы отирались около конюшен, лесопилок, сарая, в котором формовали и обжигали кирпич. Особенно нас занимала кузница, мы её называли – сокращённо – кузня. И взрослые так говорили.

Хрипят меха, вдувая воздух в горн, до белизны доводя пламя углей, в этом пламени – или подкова, или кусок железа, который прямо на глазах превращается в болт со шляпкой, пластину навеса, шкворень, чеку в ось… Подручный кузнеца, или как его называли – молотобоец, подросток чуть постарше нас, но он в упор не замечает снующую мелюзгу, он невозможно важен. В перерыве, как заправский мужик, он устало садился на толстую замусоленную чурку, сворачивал из газеты, сложенной в гармошку, «козью ножку» и смачно закуривал, пуская в небо клубы сизого дыма. Мы ему страшно завидовали. Иногда нам везло, и дед кузнец разрешал подвигать вверх-вниз жердину, приводящую меха в действие.

Интересно было видеть, как подковывают коней. Животное заводили в специальное стойло, подвешивали на ремнях, кузнец зажимал между своих ног ногу коня, ловко обрезал растоптанное копыто, брал щипцами из горна раскалённую подкову и прижимал её к копыту. Слышалось шипенье, веялся лёгкий дымок, распространялся запах горелого мяса. Несколько точных ударов по головкам плоских гвоздей – и нога лошади «обута» в железные сандалии.

Однажды попался невообразимо «несговорчивый» жеребчик. Его не только подковать, но и завести в станок с ремнями не могли. Хрипел, ржал, метался в стороны, волоча за собой мужика и подростка, приведших его в кузню, вставал на дыбы, полоская ими в воздухе, словно безвольными тряпками. Глаза дикие, испуганные. Мышцы под лоснящейся кожей мелко дрожат. Наконец-то и он подкован. Вытирая с лица пот кепкой, к нам большими, размашистыми шагами подошёл мужик. Разинув огромный рот, он вытащил зубы и в сердцах сказал: «Видите,

до чего он меня довёл!» Зрелище сногшибательное! Откуда нам было знать, что бывают вставные челюсти. Когда я рассказал об этом маме, она тоже мне не поверила. «Выдумщик», – сказала она, взъерошив на моей головёнке выгоревший вихор.

По тракту, пыхтя от тяжкого груза, поднимались на пригорок грузовики. Они везли бочки, ящики, укрытые брезентом, в портовый городишко на реке Лене. Скорость их была такая, что не зацепиться за борт сзади и не прокатиться до конца улицы было просто невозможно. И вот, повиснув на руках, обдуваемые пылью, иссекаемые галькой, мы ехали до той поры, пока наших ног хватало, чтобы безопасно отцепиться. Не всегда так получалось. Однажды хитрый водитель так разогнал машину, что мы с дружком содрали кожу на животе, коленях, естественно, и на ладонях, а друг умудрился и на подбородке. Как-то, выйдя на улицу в новой рубашке, что было большой редкостью, я дал зарок не цепляться за борт, во всяком случае, до стирки, она тоже, кстати, не такой уж частой была, но решение зацепиться пришло независимо от моей воли. Грузовик так медленно вползал на подъём, что не повиснуть на нём мог только самый ленивый и безразличный к улице пацан. Всё бы ничего, но я зацепился новой своей рубашкой за невидимый крюк, и не отцепился, пока не сделал из неё распашонку. Стыдно, конечно, было перед мамой, но что делать, пришлось выслушать серию рассказов о страшных случаях, происшедших с такими же непослушными сорванцами.

Зимой было проще. Проехался, зацепившись проволочным крючком за борт, на коньках или валенках, отцепился – и дело закончено. Правда, валенки приходилось чинить почти каждый день. Но это уже другой вопрос.

Однажды привалило счастье! Прямо с неба! К нам прилетел маленький По-2, сделал круга два над нашей деревней, как вдруг из него посыпалось что-то белое и невесомое. Нашему восторгу не было предела! Мы кричали, визжали, стараясь поймать эти небесные подарки! Мне повезло больше всех – прямо в руки плюхнулась кипа газет (это были они), штук двадцать. Я бегом отнёс их в свою избушку и надёжно спрятал под тряпками в сундуке. Кто ни приходил и ни просил, я никому не дал и одной! Такое богатство отдать просто так? Ни за что! На газете можно рисовать, писать буквы, из неё можно вырезать фигурки, делать кораблики, самолётики, тюбетейки и даже «будёновки»! Отдать…

Пришла с работы мама и, к моему удивлению, все газеты, всё моё богатство, раздала людям, приходившим к нам за ними. При этом терпеливо и убедительно объясняла мне, что иначе нельзя, ведь людям тоже надо знать, что там написано; эти газеты самолёт выбросил для всех, а не только для нас. Пришлось подчиниться, хотя с её доводами был не согласен, потому что любая новость даже без газет разносилась по нашей деревне в одно мгновение, а тут, видите ли, им мало десятка газет, надо все забрать. Теперь их дети будут рисовать и кораблики пускать, в тюбетейках красоваться, а у меня ничего этого не будет.

Над нами в небе часто громом отзывался звук большого числа самолётов, летевших с Северо-Востока на Юго-Запад. Как потом выяснилось, это перегоняли на фронт американские самолёты.

В семь-восемь лет я помогал маме пасти колхозных овец, а мой дружок Васька, впоследствии начальник Иркутского аэропорта, пас коров. Скажу сразу, что с овцами я не имел столько горя и хлопот, сколько Васька со своими коровами. В жаркий день овцы мирно укладывались в рыжей степи большими кочками и дружно млели в своих тяжёлых шубах. Коровы же в это время, вскинув упругие хвосты, как казаки сабли, вдруг, ни с того ни с сего, срывались с места и уносились вдаль неукротимой лавиной, сбивая в пыль сухую степь или засеянное рожью поле. Я, верный союзническому долгу, помогал другу в корриде со стоголовой пучеглазой армадой…

В девять лет у меня были две косматые лошадёнки, две бороны и один на всех, мне подобных, дед Моргун. Последний был приставлен к нашей ватаге колхозным правительством для присмотра за нами и для очистки борон. Если со вторым заданием он кое-как ещё справлялся, то первое ему было совсем не по плечу. Его грозный окрик, даже с применением запре-

щённых слов в литературе доперестроечной эпохи, не имел должного на нас воздействия, а скорее подстёгивал на прямое неповиновение.

Бесконечно меряя босыми ногами не успевшую согреться после зимы влажную землю, мы развлекались, отгоняя от себя уныние и голод, песнями. Больше всего мне нравилось петь с мальчишкой-литовцем, приехавшим в Сибирь в послевоенные годы, и не по своей воле. Звали его русским именем Афоня, фамилия его тоже не литовская – Кривошеев. Афоня свободно владел литовским и русским, песни же пел на русском и украинском. Я тоже знал много украинских, и мы с ним заливались соловьями, помогая друг дружке выводить рулады неокрепшими голосами.

В классе у нас были из сосланных литовцев Афоня и Устя, в соседних классах тоже встречались литовцы. Ещё через несколько лет прибыла партия ссыльных из Западной Украины – «бандеровцы». На врагов они совсем не были похожи. Как и литовцы, обыкновенные крестьяне и рабочие. Одним словом, холопы, у которых должны всегда трещать чубы. Мой первый тракторист (я был прицепщиком) был литовец, Адам, паренёк старше меня лет на пять-шесть. Добросовестный, работящий. Впервые я попробовал у него консервированный компот из вишни, присланный ему с родины. Понравился.

– У нас там всего много. Вишни, сливы, яблоки, груши растут везде, – говорил он, когда удавалась свободная минута во время обеда. В словах его слышалась грусть.

Получив разрешение, почти все литовцы уехали на родину, остались единицы.

Часто можно услышать, как плохо относились к детям врагов народа; не верить этому я не имею права, но мои сверстники – литовцы и украинцы из сосланных – были равноправными со всеми, их не унижали учителя, не презирали товарищи по школе. Если случались драки, то совсем не по политическим убеждениям, а по законам природы, данным нам свыше.

Преподавателем географии был литовец Людвиг Людвигович. Бледный и тощий, неисправимый интеллигент, не мог он управлять разнузданной массой безотцовщины. Даже его лирическое пафосное вступление на первом уроке не привлекло особого внимания детворы к любимому им предмету. Хуже того, копируя картавость географа, то тут, то там слышалось высокопарное:

От финских хвадных скав до пхаменной Ковхиды…!

Примером ему мог бы послужить наш, отечественный, воспитатель и преподаватель по физике – Павел Иванович. У него без проблем проходили занятия. Он никогда не жаловался директору и родителям на нерадивых и непослушных учеников. Расшалившихся бесенят он брал огромной рукой за воротник, другой – за штаны там, где они раздваивались и сходились одновременно, и, совершенно не задумываясь, чем открывать будет нарушитель дисциплины дверь, вышвыривал его в коридор. У меня лично шишка сходила недели две.

Этой необходимой методикой работы с подрастающим поколением совершенно не владел интеллигентный до мозга костей географ Людвиг Людвигович.

По коридорам и кабинетам школы бегал шустрый, непривычно длинноволосый, литовец с аккордеоном. За фанатичную любовь к бродяжьему сибирскому фольклору ему присвоили новое имя – Бродяга. А когда он однажды, увлёкшись дирижированием созданного им хора, свалился со сцены, то и знаменитую песню тут же переиначили. Она зазвучала так:

Бродяга со сцены свалился,
В глубокую яму упал,
Ругался, божился, крестился,
Несчастную жизнь проклинал…

Аккордеон у него был – загляденье! Перламутр и никель! Блеск и шик! Ни у кого ничего подобного в деревне не было. Были задёрганные чубатыми гармонистами две гармошки, два патефона были, а аккордеона – ни одного. Патефон был в нашем краю у Сыроватских. В погожий летний вечер они раскрывали окно и ставили на подоконник чудо-ящик. Бодрым голосом сообщали миру счастливые певцы, как теперь хорошо живут в колхозной деревне, по которой шагают торопливые столбы электропередач. Какими они ни были торопливыми, но до нас так и не дошагали. Так и сидели с керосиновыми лампами до шестидесятых годов.

Нам нравилось переиначивать тексты песен. В песенке фронтового шофёра мы пели: «Крепче за барана держись, шофёр!» Исполнителю, певшему разухабисто: «Бывали дни весёлые, гулял я молодец!» – мы подпевали: «Бывали дни весёлые, по сорок дней не ел, не то, что было нечего, а просто не хотел». В песне со словами страдальца: «Зачем ты, безумная, губишь того, кто увлёкся тобой?..» – мы «безумную» заменили на «беззубую» и получилось, как нам казалось, очень даже смешно. А про Семёновну, ужас, что пели!

И голодно было, и тяжела работа, а выдумки и проказы нами не забывались. Одна из них была такая: на пути к заимке, в лесочке из тонких осинок и берёзок, мы пересекали ручей. Был он не глубок и не широк, однако же был. Переезжая через этот ручей верхом, мы с гиканьем и свистом понукали лошадей, хлестали их плетью, шпыняли босыми и твёрдыми, как голыш, пятками – в общем, делали всё, чтобы лошади, вступив в ручей, сами, не дожидаясь команды, рвали копыта. Мы умирали со смеху, видя, как новички валились в ручей от неожиданного проявления прыти лошадями, а косматая упрямица деда Моргуна носилась по кустам, стараясь избавиться от не совсем лихого наездника. Были и другие проказы, но о них лучше не вспоминать. Стыдно.

В четырнадцать лет я уже личность: я – прицепщик на тракторе, почти номенклатурная особа в масштабах колхоза. Мой начальник, с кривой ногой тракторист Василий Ершов, обдуваемый вольными байкальскими ветрами, спит сном младенца в высокой сочной траве, от его лёгкого дыхания колышутся яркие полевые цветы и трепещут бабочки… Я, управляя рычащей железякой, тоже не упускаю прекрасного. Я уже не я, не замурзанный прицепщик, а бравый лейтенант-танкист – неотразимо красив и храбр, ору во всё горло: «Броня крепка и танки наши быстры!» На этой должности и закатилась моя колхозная карьера. После школы я поступил в военное училище.

Из тех детских лет помню, как провожали на войну мужиков. Днём и ночью не стихали вопли баб, крики пьяных мужиков. Помню, как отхаживали мою бабушку, потерявшую за полгода двух сыновей, – Мишу и Толю. Ещё через полгода был убит её зять Гриша, на руках у тёти Юли остались пятеро, мал-мала меньше: старшему, Володьке, не было и десяти, а младшей, Томке, так и совсем ничего…

Старого почтальона боялись, как самого злого колдуна, и ждали с нетерпением его появления на мостике, отделявшем деревню от почты. После его неспешного прохода вдоль улицы, то тут, то там взрывался бабий вой, от которого подымались волосы на голове, ещё больнее было слышать писклявый детский плач. Вскоре старик отказался от этой невыносимой для него должности, его заменила девочка-подросток.

Кого только война не стронула с привычных мест, куда только не бежали люди, спасаясь от бомб, от голода, от смерти…Кто только не забредал в далёкую Сибирь, такую же голодную, как все уголки России, но к тому же ещё и холодную…

Однажды в нашу избушку влезло десятка два цыган. Попросились двое на часок – обогреть безногого старика, – а потянулась за ними нескончаемая вереница из существ всех полов, возрастов и размеров. Они грелись неделю, украдкой опустошая наши более чем скромные закрома. Наука не пошла впрок сердобольной маме, и ещё один табор вскоре раскинул свои перины и одеяла в наших «хоромах». Тут уж маму упросила её землячка, учительница из её села. Она бросила и школу, и деревню, и старенькую мать, и ушла с табором. У её господина

была седая борода и блестящие сапоги, которые учительница снимала с его ног перед сном, она же и ноги ему мыла.

Ночевал у нас какой-то пилигрим. Седой, длинноволосый, в дырявом кожушке. Представился учителем, чем вызвал нескрываемый смех у всех присутствующих. Для проверки дали задачку из учебника Лизы про трубы, через которые втекает и вытекает вода; её, из всех самых умных наших близких и знакомых, никто решить не мог, а пилигрим взял и решил в два счёта, чем заслужил немалое уважение. Его даже накормили картошкой в мундире.

Приютили на время жестоких морозов молодую женщину с грудным ребёнком.

Поздним вечером, всё при той же холодной Луне, попросилась она переночевать, а мама отказала, потому что наш теремок был заполнен до отказа, посоветовала поискать приюта в других домах. Женщина ушла, а выскочившая немного погодя на улицу Лиза, увидела её за углом нашей избушки, плачущей над своим ребёнком. Её завели в дом, нашли самое тёплое местечко. Когда она сняла с себя многочисленные платки и одёжки, то превратилась в девчушку, а распеленав ребёнка, вскоре обо всём забыла и по-детски смеялась, забавляя его.

Ходил по селу невысокий, плотного сложения человек с армянской фамилией Хачикьян. Он примечателен был тем, что мог за один раз, на спор, да и без спора тоже, съесть ведро яиц, сваренных вкрутую, или ведро картошки. Ему было всё равно, что есть, лишь бы есть. Ходил он без рубашки, в расхристанной телогрейке, грудь и шея были цвета бурака.

В нашем доме обогревались будущие солдаты, проходившие подготовку при военкомате. Я с интересом наблюдал за ними издали; рассматривая винтовки и гранаты, сожалел, что не вышел годами. Потом узнавал, что тот или иной из них уже убит или ранен, и это не было диковиной, к этому привыкали.

Пошёл я в школу в неполные восемь лет. Солнечным сентябрьским днём побежал, конечно же, как и все мои сверстники, босиком туда, где всё таинственно и интересно. Ранняя осенняя пора в Сибири – прекрасное время. Все деревья в жёлтых, ярко-оранжевых, красных цветах, всё горит-переливается. Воздух тих и кристально прозрачен, дышишь и не надышишься. Голоса слышны далеко, они тоже окрашены всеми диапазонами звучания. И учиться интересно, и в школу спешу поутру с лёгким, радостным чувством.

«Наука» давалась мне легко, очевидно, потому, что я уже кое-чему научился у сестры, да и интересно было открывать для себя каждый раз что-то новое. Одно не устраивало мою бедную первую учительницу Сказальскую Валентину Владимировну – я держал карандаш в левой руке, привык к этому настолько, что переучивать меня было если не бесполезно, то весьма трудно, это уж точно. С её молчаливого согласия, появившегося не вдруг и не сразу, я и теперь пишу левой. Да и откуда мне быть правшой, если оба мои деда левши! Нет, не только этим я был известен классу и, ещё раз скажу, бедной моей учительнице. Пусть простит она меня за сорванные уроки, за непослушание, непоседливость… Я не был злостным нарушителем дисциплины, но иногда вдруг во мне просыпалось такое неуёмное желание рассмешить класс, что никакие меры на меня не действовали. Была даже «тройка» за поведение, чего до меня не знала школа с момента её основания. Почему я так выпендривался, только повзрослев, понял: мне крайне необходимо было привлечь к себе внимание сестрёнок из блокадного Ленинграда – Иры и Тани Балиных. Их мама была врачом в нашей больнице, а девочки-погодки учились со мной. Ира, тихая, светленькая девочка, сидела со мной за одной партой, и чтобы мои друзья-забияки не дразнили нас постыдными «жених и невеста», я изредка, чтобы все видели, как я далёк от справедливых подозрений, подёргивал её за косичку и в то же время проклинал себя за такую подлость.

Таня, Татка, как её все звали, была полной противоположностью сестрёнки. Она была кареглазая, чёрные волосы были всегда взъерошены, пуговицы у пальтишка вырваны с мясом, а где был хлястик, зияли две большие дырки, оттуда торчала клоками вата. Глаза её, как две огромные сливы, влажно блестели и выдавали её постоянное желание совершить что-то

необычное. От неё можно было всего ожидать: и подножки в самом неподходящем месте, и удара по голове тяжёлой сумкой с чернильницей-непроливашкой, перестающей быть в этот момент непроливашкой.

По-видимому, мне очень хотелось им тогда понравиться. Но закончилась блокада, и Балины уехали в свой город, с тех пор я ничего о них не знаю. Просто интересно, что с этой Татки получилось? Из этого бесёнка всё могло выйти. У Ирины, уверен, всё должно быть хорошо. Во всяком случае, мне так хочется.

В школу ходили в любой мороз, и даже перескочивший сорокаградусную шкалу, и в близкий к пятидесяти. Причина здесь может быть и в том, что термометров не было ни у кого, и люди говорили: сегодня холодно (это около сорока градусов), сегодня страшно холодно, дым столбами стоит (это за сорок), невозможно холодно, топор от удара по мёрзлой чурке разлетелся на куски (около или за пятьдесят). Не пускали малышню ни в школу, ни на речку покататься на салазках в поющие и стонущие метели. «Не хватало ещё, чтобы унесло тебя куда-то да завалило снегом, – говорили старшие, – в каком тогда сугробе тебя искать?» В классах было так холодно, что сидели одетые, в рукавицах и шапках, писали карандашами, чернила замерзали в ледышки.

Вспоминается Новый 1944-й, мой первый учебный год. Ёлка в школе. Идёт представление. Все одеты в самое лучшее, самое тёплое. Мы знаем, что после праздничного концерта всем будут давать по кусочку коврижки, потому и терпеливо мёрзнем в холодном зале. Нас развлекают девочки в белых марлевых платьицах, они изображают белых лебедей, но очень уж синие они от холода эти лебеди.

Маруська Толстикова, моя соседка, тоже в марлевом платье, только ещё с деревянным кинжалом, спела песенку о коварстве и любви с такими словами:

Почему ты не пришёл, когда я велела,
До двенадцати часов лампочка горела?

При этом она смешно прыгала со своим страшным деревянным кинжалом около «изменщика» с приклеенными криво огромными чёрными усами.

Появились в нашем селе чужие люди, которых называли предателями. Они были под присмотром милиции, и, пожалуй, никто из местных не знал, за что они сосланы, может, потому и относились к ним, как ко всем остальным, без ненависти и презрения. К тому ж Сибирь и без предателей была полна людей с неясным прошлым.

Да и я там не должен был родиться, а где-нибудь в Гродно, Могилёве или на Украине. Оттуда приехали мои деды, а отец с мамой родились уже в Сибири. Их историю я просто обязан поведать.

Они жили в разных деревнях, стоящих друг от друга в трёх вёрстах. Отец родился в Толстовке, там обосновались переселенцы по столыпинской реформе из Могилёвщины, а мама из Тургеневки, там осели Гродненцы и Брестчане.

Воду брали из одной проруби. Кстати, воду этого источника, говорят, признали уникальной, скоро будут продавать в бутылках. И вот однажды там встретились пятнадцатилетняя Ганна, по метрике – Она, и шестнадцатилетний Яков. Ганна (Она) уронила в прорубь ведро, а Яков вынул его, дал ей свои рукавицы согреть окоченевшие руки. Через год поженились. За долгую совместную жизнь народили детей – половина сероглазых блондинов – в отца, половина чернявых, кареглазых – в мать.

Отец хлебнул горя сполна. Вскоре, после трагической гибели его отца (случайный выстрел), мать ввела в дом примака, который был младше её лет на десять, а то и более. До того примак ходил по деревням, гнал дёготь, жёг уголь, плёл короба, продавал это мужикам – тем и жил. Войдя в дом к Наталке, которая в нём души не чаяла и всё боялась, чтобы не покинул

он её (обычная беда и забота женщин, прикормивших юнцов), примак забросил своё прежнее занятие и усиленно принялся проматывать крепкое недавно хозяйство. Активной помощницей ему в этом неблагородном занятии была и сама хозяйка. Скоро от хозяйства остались рожки да ножки. Но на этом не остановился примак. Он стал проявлять чудеса садизма над детьми, и отцу моему грозила смерть. Знали, конечно, об этом и братья покойного Степана, мяли бока не раз примаку, но исправить его было невозможно. И вот однажды, ещё до рассвета, в дом к Наталке пришёл дед моего отца и забрал его к себе, в своё большое семейство. Сделал он это после приснившегося ему сна, в котором покойный сын Степан умолял забрать мальчишку к себе, иначе погубят его эти ироды.

Бабушки были полной противоположностью одна другой. Высокая, худая, прямая, немногословная – мамина мама – баба Мартося, девичья её фамилия Гуревская. Она недолюбливала бабу Наталку и называла её мужичкой. У бабы Мартоси – чистота и порядок, у бабы Наталки – неимоверный кавардак. Но зато какая у неё подвижность! Кроме всего, Наталка врачевала во всей округе заговорами да травами. Это у неё получалось превосходно. Я сам видел, как однажды к ней прибежала молодица, принесла не плачущего, а разрывающегося на части от крика грудного ребёнка. Со слезами обречённо отдала его Наталке, а через минуту он уже спал, сладко почмокивая губами.

Конкурентов у бабы Наталки, практически, не было. Была ещё одна в деревне, которой казалось, что тоже может врачевать, но её всерьёз не принимали. Звали её, как и всех баб, по имени мужа – Панурeиха. Ростом она была под два метра, со свирепым выражением лица и огромными разлапистыми руками и ногами.

Как-то, когда не было в деревне главного врачевателя, Наталки, в деревню приехал на двухколёсной телеге – торге – молодой бурят, у него что-то со спиной стряслось. Принимала его Панурeиха. Узнав, в чём его беда, коротко рявкнула, показав на порог: «Лягай, бусурман!» Бурят интуитивно подчинился. «Мордой до горы!» – уточнила позу Панурeиха. Опять непонятно, каким образом бурят правильно понял команду. Взяв топор, поблизости стоявший, Панурeиха выдала очередную команду дрожащему уже от могильного ужаса буряту: «Путай!», что в переводе значило: «Спрашивай». Бурят этого, почти иностранного, слова не знал и на своё горе решил уточнить. «Куво, баушка, путай?» – заискивающе переспросил он. В ответ Панурeиха, вскинув к чёрному задымлённому потолку топор, зарычала, как лев в пустыне: «Путай, каб Пярун табе забив!»

Больного бурята, забывшего все свои болезни, как ветром унесло. Он убежал в свой улус напрямик через лес, оставив у ворот коня с торгой.

Трудно было ему, привычному к безобидным глухим звукам бубна и пляскам шамана у костра, понять языческий ритуал страшной в своей решимости старухи в чёрном и с топором в руках. Будь на ней хотя бы одна яркая ленточка, а в руках балалайка или дудочка, тогда бы всё проходило иначе.

К вечеру пришёл кривоногий старик с редкой сивой бородёнкой, не сказав никому слова, отвязал от изгороди коня, сел в торгу и уехал, посвистывая не смазанными колёсами.

Как-то и Наталка так занедужила, что без больницы ей было не обойтись. Через три дня её оттуда выписали. Врачи не могли поступить иначе, потому что затронута была их профессиональная честь.

Прознав о новом местонахождении Наталки, пуще прежнего устремились больные, особенно мамаши с детьми, к ней в палату. Врачи были взбешены!

– Та не я их зову, яны сами идуть! – оправдывалась Наталка. – Вон и врачиха ваша, Вольга Мироновна, свого брыластого принóсила!

У бабы Мартоси отец был офицером польской армии, ходил в сюртуке и галстуке, любил играть на скрипке. А у бабы Натальи кто был отец, не знаю, известно, что в Киеве она работала служанкой у своего дяди-прокурора, знать, не последний человек был и её отец. От дяди-

прокурора, очевидно, переняла Наталка такие качества, как честность и справедливость. В то время судьи и прокуроры в большинстве были таковыми. Она была чрезвычайно бойкой на язык, прозвища, сказанные ею мимоходом, приклеивались раз и навсегда. Жила она бедно и никому никогда не завидовала. От примака остались два сына, а сам он погиб на войне в панфиловской дивизии под Москвой.

Мой дед, по отцу Степан, был страстный охотник, это его и погубило в тридцать три года. До этого был ранен в ногу на германской войне, побывал в лапах медведя, еле выжил, и тут случайный выстрел в живот. Был грамотный для той поры настолько, что ему предлагали место писаря в администрации Иркутска.

Дед Трофим, отец мамы, тоже был грамотный, но он не был, к сожалению, охотником, а целиком предан столярному и плотницкому делу. Ветряк до сих пор стоит на пригорке Тургеневки, как памятник деду, сработанный его же руками. Когда-то, при царе ещё, был моряком. Его форму, хранимую бабой Мартосей, как зеницу ока, во время гражданской войны забрали белые, может быть, и красные; мыкались они по Сибири долго, наседая поочерёдно друг на друга.

Белые хотели расстрелять деда Трофима с его отчимом за то, что они подобрали в болотах Булги телегу из обоза, поспешно брошенного белыми при отступлении. Если бы не моя мама, тогда ей было лет девять, то расстреляли бы точно. Мама упала в ноги офицеру, обхватила их, и со слезами стала просить «не убиваты тату и дида». Офицер пощадил отца, а в старика выстрелил, но промахнулся, и только вырвала пуля клок бороды, а сама застряла в лиственнице. Эта лиственница в моём детстве ещё стояла в огороде деда, и я видел на её теле уже затянувшуюся смолой рану от той пули.

Вообще-то Сибирь не ко всем была благосклонна, хотя туда решились приехать не слабые духом. В первую же зиму после переселения, крестов на пригорке наставили столько, что не дай Бог. Умирали слабые и старики. Неимоверные морозы, какие и представить невозможно, встретили их в первый же год. А одежонка какая была! Зипуны да лапти. А работа! Такой и каторжане не испытывали! Вручную в снег и мороз валить вековые лиственницы да корчевать пни! Выжили… чтобы кому-то быть расстрелянным в лихие тридцатые под Пивоварихой, кому-то быть убитым в нескончаемых войнах.

Мы ждали отца с войны долгих пять лет, надеялись, что с его приходом забудем, что такое голод и холод. Только так не получилось. Нам стало жить труднее: задавили налогами. Всякими правдами и неправдами доживали до весны. До щавеля, до крапивы и лебеды… Щавель собирали на бурятских полях, буряты гонялись за нами на злых косматых лошадях и стегали плетями.

Как только освобождались от снега пригорки пашен, детвора, и свободные от работы девки, и бабы устремлялись туда, ибо там можно было поживиться оставшимися с прошлого года колосками. Это почему-то преследовалось властями. Там, тоже на лошадях, но уже наши, русские, и тоже с плетями, гонялись за «преступниками», отнимали у них собранные колоски и втаптывали их в грязь. Этого я не могу понять и теперь.

Особенно голодным был сорок седьмой год. Были дни, когда мы не ели совсем. Мама, кормящая грудью мою сестрёнку, падала в голодном обмороке, отец был похож на скелет, обтянутый огрубевшей кожей; мне тоже есть очень хотелось, однако я оставался самим собой – непоседливым и неунывающим. У бабушки Натальи, как и у многих, не было избытка продуктов, но что-то всегда было, и мама, в который раз отринув стыд, посылала меня с мисочкой к ней. Бабушка никогда не отказывала, и я бежал домой с лепёшкой или горсткой муки, из которой варили похлёбку.

В эти тяжёлые дни, когда совсем и всем стало невмочь, колхоз собрал какие-то деньжата, и три мужика, помоложе и порасторопней, поехали в богатые хлебом края. Все ждали их с

нетерпением. Долгим было их путешествие, ещё дольше казалось оно при голодном брюхе. Вернулись через две недели, привезли полтора мешка кукурузной муки – по мисочке на двор…

Жил у нас в это время мамин родственник из её деревни, он учился в школе механизации, и был по сравнению с нами весьма зажиточным человеком. У него всегда был хлеб, сало. К его приходу после занятий мама варила ему суп, и он его по-крестьянски, не торопясь, съедал в молчаливом одиночестве. Потом, как что-то его укусило, он налил мне однажды полтарелки этого супа, я отчаянно и стыдливо отказывался, но он настаивал, как было бы это делом его чести, и мама кивком разрешила. Я ел этот суп, и он застревал у меня в глотке, потому что рядом стояли и заглядывали мне в глаза голодные сестрёнка и братишки. Я стал избегать этого «благотворительного» обеда, а однажды, увидев заплаканное лицо мамы и узнав причину её слёз, раз и навсегда отказался от унизительной подачки богатого родственника. Причина слёз была проста. Маленькая сестрёнка, увидев хлеб, который мама не успела спрятать от её глаз, разревелась. Мама отрезала ей скибочку от большой буханки и нарушила заметки, что сделал её изобретательный родственник. Сев за свой обед, он тут же распознал «кражу» и устроил маме разнос.

В «лихие девяностые», когда пенсия полковника была тридцать долларов, зарплата – пятьдесят, моя жена и её мама, не испытавшие голода, были в ужасе от недостатка привычных продуктов. Я же, вооружённый опытом голодного существования, был спокоен: на хлеб и соль этих денег хватало.

Отец ходил, как тень. Голод и непомерный труд вымотали его. Я помогал, чем мог. Вместе мы заготовили и перевезли лес, срубили сенцы и баньку. После работы бежали на солонцы или к водопою подстерегать диких коз, иногда нам везло, но чаще понапрасну кормили злых, как собак, комаров.

Ружья у отца были старенькие, плохонькие, он менял-выменивал их в надежде приобрести что-то стоящее, но, увы! Долгими зимними вечерами скрежетали мы пилами и напильниками, вытачивая недостающие детали к очередной своей надежде, чистили долго и кропотливо стволы от нагара и ржавчины, а результат всё тот же – никудышный.

Видя бесплодные попытки отца заиметь добротное ружьё, я дал себе зарок купить ему таковое с первой же получки. И сдержал слово. В первый же свой лейтенантский отпуск я привёз ему новенькое двуствольное бескурковое ружьё с хромированными стволами. Надо было видеть глаза отца, когда я вручал ему этот подарок. Алмазы! И здесь он был верен себе. «Ну, зачем ты тратился, лучше бы себе что купил. Я бы и своим обошёлся», – были его слова.

Нет уже отца, и ружьё опять вернулось ко мне. Храню его как память о нем, о тех днях и ночах, что провели мы с ним у костра в весеннем лесу, охотясь на глухаря, когда бродили по прозрачному осеннему лесу, высматривая белячков…

Светлая память о тебе, отец! Светлая память о тебе, моя милая добрая мама! Винюсь запоздало перед вами за все огорчения, что волей иль неволей принёс вам. Как жаль, что нет возможности повернуть время вспять и оказаться опять в том моём босоногом детстве.

В октябре прошлого года я, разбуженный ностальгическими чувствами, оказался в родных краях после долгого скитания по чужим городам и странам. Многое изменилось с тех пор, как я, мальчонка, в ситцевой выгоревшей рубашонке, с холщовой сумочкой в руках, покинул отчий дом и отправился искать своё счастье, свою долю.

Я не узнавал людей, не узнавал земли, на которой вырос. Высоченные бугры, собиравшие зимними вечерами многоголосую детвору, оказались всего лишь небольшими холмиками, не более того. Знаменитый Ленский тракт, который топтали ноженьки каторжан и искателей удачи на приисках Колымы и Бодайбо, заасфальтировали, а мы так любили, зацепившись за борт грузовика, рассыпать с шиком искры из-под коньков.

Избушку, в которой я родился и вырос, снесли, на её месте вырыт глубокий котлован. Соседи поведали, что строится удачливый предприниматель, но имени его они не знают.

«Что ж, – думал я, глядя сквозь пелену на сваленные в кучу брёвна избушки, – всему своё время. Ты сослужила добрую службу, была бедной, но приветливой, обогревала и давала приют каждому, кто стучался в твою дверь или промерзшее окно, а вот будут ли так же щедры к людям хоромы, что поднимутся на твоём месте?»

Курсанты-лейтенанты

С годами из памяти стирается многое, в основном то, что не тронуло глубоко твоей души, и яркими, броскими картинами стоят перед уставшими глазами важные для тебя события, ты отчётливо видишь лица, слышишь голоса, звуки. Ты снова участник и свидетель тех событий давнего, или не очень давнего, времени. Иногда не хотелось бы вспоминать что-то, а оно стоит тяжким укором и не покидает тебя ни на минуту.

Жаркое-жаркое лето военной поры. Дорожная мягкая пыль жжёт подошвы босых ног. Солнце выбелило мою головёнку так, что из тёмной, зимней, она превратилась в цвета соломы. Лицо, руки, ноги – тёмно-коричневые, как шоколад, вкуса которого я тогда ещё не знал, да и потом долго ещё не доводилось узнать его.

Улица – место моего постоянного пребывания. От восхода солнца до глубокой темноты я там. Улица, не конкретно та единственная наша улица, которая тянулась вдоль тракта, а вообще – пространство на земле, под небом. Необъятное пространство. В одном его направлении чернел могучий лес, в другом, так же бесконечном, – раскинулась рыжая холмистая степь. По этой степи, иногда заныривая в закраины наступающего леса, уползала на юг и север укатанная гравийная дорога. На юг – к Иркутску, самому большому городу Восточной Сибири, Прибайкалья. А на север – к великой судоходной реке Лене и её порту Качугу, несравнимо с Иркутском маленькому, истинно провинциальному сибирскому городишке. Моё село с единственной улицей оказалось, как раз посредине двух этих пунктов, называлось оно Покровка.

Этой дорогой уходили на войну мужики, этой дорогой они возвращались домой, кто цел и невредим, а кто израненный, искалеченный. По этой дороге, переполненные счастьем, гуляли те, кому повезло выжить в войне, кто дождался встречи. Серьёзные, полные достоинства, лица пожилых людей, светящиеся у подрастающей молоди, задорные, со следами выпирающей гордости за своего отца или брата, – виновника торжества, – у пацанвы. А если у пацана ещё какая-то необыкновенная подарочная вещица в виде блестящего складешка или губной гармошки, то тут уже лица самые разнообразные – гордые, завистливые, заискивающие.

Прогуливались большой толпой наши родственники: вернулся мой двоюродный дядя – Кузьма Климович, капитан, командир батальона. Он был прекрасен! Стройный, ладный, кареглазый; густые тёмные волосы волнами лежат на гордо вскинутой голове; грудь в орденах. Он приехал не один, а с женой, одесситкой. Само по себе не такое уж это событие – привезти жену, привозили и до него. Дело в другом. У моего дяди половина крови была чужой, его жены-одесситки. Она была медсестрой и отдала свою кровь израненному молодому красавцу-комбату. Видать, от большой любви у них нарождались дети только парами. Проблема была в том, что здоровьем детишки не отличались, наверное, была потеряна сопротивляемость организма из-за смешения родительской крови. Но бабушка Федосья, игнорируя лекарства и медицину в целом, взялась за дело истово. Лёгкая банька с веничком, крестьянская пища, – и дети пошли на поправку. Невестка уволокла, так говорила бабушка, Кузьму и четверых уже детей к себе в Одессу, и больше я их в Сибири не видел. По прошествии времени, я как-то спросил у отца, не слыхал ли он что-нибудь о наших одесситах: «Как же не слыхал, слыхал. Кузьма страдает от старых ран, а его сыновья-сорванцы всю Одессу в руках держат», – было мне ответом.

Второй дядя, Алексей Климович, пришёл зимой, как и мой отец, и гуляли они тогда долго и шумно, лихо носились на санях за водкой, кричали песни, разрывая на морозе меха гармошки.

Дядя стоил такой встречи…

В одном бою были убиты все офицеры; залёгшую в растерянности роту немцы расстреливали методично из всех видов стрелкового и артиллерийского оружия; и тогда дядя, будучи

младшим командиром, поднял роту, и выбили они немцев из окопов, закрепились, обеспечили успех другим частям и подразделениям.

Об этом его поступке мало кто знал, и за что у него ордена, он рассказывал немногим.

Он единогласно был избран председателем колхоза, много сделал хорошего для людей, но, к сожалению, рано ушёл из жизни. Такая вот несправедливость.

С треском, грохотом и рёвом на трофейном мотоцикле, вдоль этой же улицы, носился геройский старшина, у которого, как ни у кого, даже у моего дяди комбата, к моему огорчению, не было столько наград. В таком красивом виде он пребывал не более трёх дней, а потом все узнали, что он никакой не старшина, а обыкновенный рядовой солдат погребальной команды, и из всех наград, которые были у него, ему принадлежит только одна-единственная – медаль «За победу над Германией».

Этой дорогой и я пытался когда-то убежать на фронт, но меня, уже по-солдатски перепоясанного ремнём, с деревянным ружьём за плечами перехватили на мосту, перешагнувшем через безымянную речушку на окраине нашего села. Мне тогда было лет пять или шесть, но был полон решимости бить фрицев.

Я подрастал, и всё чаще и чаще поглядывал на эту дорогу, смутно понимая, что и меня когда-то уведёт она в неведомые и невиданные края. Я готовил себя к этому.

Первая попытка вырваться на простор, не считая детской, оказалась тоже неудачной. Закончив семь классов, я уехал на попутке в Иркутск поступать в железнодорожный техникум, который назывался сокращённо – ШВТ (школа военных техников). Поступал я не потому, что очень уж хотелось прославить себя в железнодорожном деле, скажу больше, мне оно было абсолютно безразличным, и паровоз-то я видел только в кино да на картинках. А всё дело в том, что учащиеся этого заведения находились на полном государственном обеспечении, и это в то время было крайне важным для многих мальчишек и их родителей. Что ещё можно пожелать своему вечно голодному полураздетому ребёнку, кроме сытой и тёплой жизни! Конкурс был дикий! Прошли туда в основном те, у кого за спиной были крепкие силы влиятельных особ.

Мне было стыдно возвращаться в дом, в котором, кроме меня, у отца на шее сидело ещё четверо, и отец рад был избавиться от одного хотя бы рта… И вот такое получилось. Это было моё первое серьёзное поражение, к которому не был готов. Оговорюсь сразу, что я был и остаюсь, может быть, больше чем надо, тщеславным, оттого и упрямым, человеком. Стремление во что бы то ни стало добиться поставленной цели, всегда было для меня главным. Честными, разумеется, путями. А тут такой срыв!

Я шёл по улицам чужого неприветливого города, изучая вывески, и мир казался мне злым и несправедливым. Финансово-экономический техникум. Первый техникум, встретившийся на моём пути. Экзамены сданы успешно. Принят. Только радости от этого никакой. Смотрю на окружение, и мне становится не по себе. Одни девчонки! Да инвалиды ещё. И я пошёл искать чего-то дальше. Техникум физкультуры. Это не совсем то, чем я болел, однако и не человек в нарукавниках. Берут и здесь.

Домой возвращаюсь хоть и не на белом коне, а всё же и не на козе. И отец вроде бы смирился с участью вечного кормильца, и мама просит меня быть в этом хулиганском городе поосмотрительней, не дружить с плохими парнями, и друзья завидуют, а мне уже не хочется туда. Мучаясь, страдая, ходил я долго, не решаясь сказать об этом родителям. Время бежало быстро, оставались считанные дни, а я страдал и молчал. Когда совсем уж ничего не оставалось, я сказал маме, что не хочу ни в какой техникум, хочу после школы поступать в военное училище.

– Я поговорю с отцом, – сказала она, выслушав внимательно мои сбивчивые слова. – Он не будет рад этому.

Последние её слова прозвучали как упрёк, как назидание, быть более серьёзным в важных делах.

Ночью я слышал голос мамы, тихий, ровный. Отец говорил громко. Потом долго курил, кашляя.

– Что ещё ему надо? – говорил он, покурив, уже более спокойным голосом. – Сиди себе в тепле, да стучи косточками (на счётах). Это же не как я, на морозе да в пекле. И получает наш булгактер не как я. Мешок картошки отвёз бы, чего ещё ему?

– Он хочет после школы поступать в военное училище, – говорит мама.

– До этого ещё дожить надо. Это ещё три года.

– Тебе будет помогать. Летом на тракторе работать, там хорошо платят, – убеждает мама.

– Что мне помогать, пусть о себе думает.

– Да мал он ещё.

– Мал… Я в его годы… Сто рублей прокатал…

По голосу отца понимаю, что мы с мамой выиграли битву.

А что касается этих ста рублей, так это было совсем немного. На эти деньги я мог себе позволить один раз в день съесть свой обед, он же завтрак и ужин, и состоял из куска хлеба и одной дешёвой ржавой селёдки. Запивал водой из колонки на улице. Иногда свой совмещёный обед делил с товарищем, тоже поступавшим в финансовый техникум – одноклассником Стёпой. Не лукавя, скажу, что я помог ему набрать нужные баллы. После экзаменов мы бежали к его тёте, где он жил. Мордастая, как и Стёпа, тётя ставила на стол большую миску борща с куском аппетитно пахнущего мяса, много хлеба, тоже душистого, и кружку киселя или компота. Мой желудок, поверивший в несуществующую щедрость и гостеприимность Стёпиной тёти, в первый раз мгновенно заполнился соком, готовым бесконечно переваривать любую пищу и в большом количестве, а во второй, третий и последующие, поняв свою ошибку, мирно дремал и меня уже не беспокоил. Он только, видать, обидившись, посылал в мозг язвительные реплики по адресу Стёпиной тёти, и передо мной тогда не порхала добрая, щедрая фея, а топталась толстая жадная баба с короткой шеей и животом, как у гусыни, ног её не видно было из-под длинной юбки, но я знал, что они, как у паука, – тонкие, кривые и волосатые.

Стёпа, усиленно шмыгая вспотевшим носом, безропотно съедал всё без остатка. Глянув на пустую посуду, не спеша вытирал тыльной стороной ладони жирные губы, и, переведя на меня осовевшие от сытости глаза, спрашивал:

– Может, на Ангару смотаем?

И мы бежали на Ангару. Я – легко и весело, поддёргивая спадающие штанишки, Стёпа – пыхтя и отдуваясь. С берега бросали камешки, заглядывали в прозрачные, как хрусталь, воды прекрасной сибирской реки. Потом Стёпа спешил к ужину и мягкой постели, а я, естественно, «зайцем» добирался до Рабочего посёлка, где на чердаке старого сарая было моё временное обиталище.

На эти же деньги я не утерпел и сходил в цирк, и там же съел парочку порций мороженого, решение моё на этот счёт было однозначным: ничего, без селёдки перебьюсь! Вот и все деньги. Домой добирался уже как мог. На попутках, обманывая жлобов-водителей.

А бредил я другим. Хотел быть лётчиком. И не просто лётчиком, а истребителем. Можно, как и Водопьянов или Молодчий, но всё же лучше истребителем. Чкалов, Кожедуб, Покрышкин, Талалихин, Сафонов! Вот это настоящие лётчики! И я буду таким! Жаль только, война закончилась, и негде теперь проявить свой героизм! Но ничего, найду…

В классе восьмом или девятом вызвали в военкомат, поинтересовались моими планами на будущее, узнав их, решили проверить, могу ли я быть лётчиком, хотя бы в смысле здоровья. Медицинскую комиссию я прошёл без сучка и задоринки, и был взят на учёт как претендент на место лётчика-героя.

Я не почивал на лаврах, готовился к поступлению, проявляя чудеса упорства и терпения. Во дворе у меня появились гири, штанги (шестерни и прочие железяки на трубе), перекладина (труба на столбах ворот), большое резиновое колесо. Может, не каждому понятно,

для чего мне понадобилось это колесо? Очень простой ответ: для тренировки вестибулярного аппарата. Лётчику такие тренировки крайне необходимы. Тренировки простые, но требуют ассистента-помощника, недостатка в которых у меня не было. Какому пацану не захочется покатать колесо с человеком внутри, голова которого между колен, локти в ссадинах – наружу. Да и самому промчаться в этом колесе разве откажешь! Земля-небо, земля-небо! Сплошная полоса! И долго ещё мир бешено крутится в твоих глазах!

Тренировки не прошли даром: к концу школы у меня было несколько спортивных разрядов, и мышцы мои были хоть и тощеваты, но крепки, выносливы. Тело закалял зарядкой и растиранием снегом. Начало было неудачным, схватил воспаление лёгких. Потом всё нормализовалось, и пробежаться босиком по хрустящему снежку для меня было пустячным делом.

Я жду вызова из лётного училища, он должен пройти через военкоматы. Я знаю это училище, оно ждёт меня.

Однажды, когда я пришёл в ДК на фильм (почти единственное окно в большой мир, не считая книг), меня там увидел капитан-военком, отвёл в сторонку.

– Нам с тобой, брат, не повезло, – сказал он, глядя мне в глаза. – Место, которое держали для тебя, у нас, к сожалению, забрал областной военкомат. Если хочешь, подберём какое-нибудь другое? Алма-Атинское пограничное, Ташкентское общевойсковое, есть училище тыла? Подумай. Приходи завтра с утра, решим на месте.

Утром я отказался от всех предложенных мне училищ, забрал документы и умчался в Иркутск, поступать в гражданское лётное училище. Тоже не плохо. Буду полярным лётчиком. Как Водопьянов, Леваневский… К моему огорчению, на дверях приёмной комиссии висел листок бумаги, на котором были написаны чернилами роковые для меня слова: «Приём курсантов в училище закончен», и дата вчерашнего дня. Один день, всего лишь один день, отрезал мне путь в небо!

«Ничего страшного, – успокаивал я себя, трясясь в кузове грузовика с бочками, везущего меня к дому. – Не все лётчики стали сразу лётчиками. Кто-то пришёл из механиков, кто-то даже из кавалерии, кто-то совершенно случайно забрёл с улицы. Закончу авиационное, пусть будет техническое, училище, и потом, при первом же случае, перейду в лётчики. Механиками были и Чкалов, и Покрышкин, и многие ещё мне неизвестные лётчики». И я дал согласие на Иркутское военное авиационно-техническое училище ВВС.

В первой половине дня я ушёл из дома, чтобы никогда больше в него не возвратиться. В руках у меня сумка, в сумке несколько учебников, да что-то из одежды, на плечах выцветшая ситцевая рубашонка, на ногах видавшие виды ботинки. Меня провожала ватага мальчишек, кому я щедро раздал свои спортивные «снаряды» и прочие ненужные уже мне безделушки.

Навстречу шла мама. Она спросила меня, куда это я с сумкой? Чуть помедлив с ответом, я сказал, что уезжаю. У мамы сразу же повлажнели глаза, и чтобы не видеть слёз, успокоил её.

– Я пошутил, мама, – сказал я, прощаясь мысленно с ней.

Я ехал в кабине какого-то запоздалого бензовоза, глядел на степь, вспученную рыжими буграми, и думал, что в эти места никогда больше не вернусь. Душу царапали острые когти, и я крепился, чтобы не заплакать, не разрыдаться…

Покидал этот край навсегда, потому что мне в нём было уже тесно. Кино и книги, особенно книги, заставляли меня смотреть на мир широко открытыми глазами. Я не переставал удивляться успехам в крепнущей после войны стране. Где-то люди прокладывают дороги, создают моря, штурмуют небо и океаны, снимают фильмы, пишут интересные книги о героях, прошедших войну и теперь строящих новую счастливую жизнь. Разве усидишь тут! Надо быть рядом с ними! А иначе, зачем жить?

Поступил без труда. Даже то, что вес не дотягивал до роста, не помешало мне пройти медицинскую комиссию без замечаний. «Здоров, норма, отлично, соответствует» – такие заключения писали врачи в моей медицинской книжке. А вес не добирало большинство, и

врачи знали, что через три-четыре месяца этот недостаток изживёт сам себя. Так оно и получилось: почти все взяли своё недостающее, один наш курсант прибавил 16 кг за неполный год, я тоже наел четыре.

В связи с этим вспоминается такой случай… Но перед этим скажу, что, переодевшись в форму, мы превратились в бегающих, снующих, вечно опаздывающих, неуспевающих, неумелых зелёненьких человечков в огромных сапогах. Как бы мы не старались что-то сделать хорошо, всё было не так, всё не нравилось нашим командирам. То щётка не там, то в тумбочке книги не пирамидкой, то одеяло морщит. И вот как-то заготовщики пищи на всю роту получили бачки с кашей, мясом, да ещё получили масло, сахар, всё расставили по столам. Стол на двенадцать человек. На отделение. Прибежала взмыленная, опаздывающая на занятия рота, побрякалась на лавки, застучала ложками-поварёшками. Смотрят наши заготовщики и глазам своим не верят: один стол не занят едоками. Значит, просчитались на выдаче и пищи выдали больше, аж на целых двенадцать человек! Вот повезло, так повезло! Скажи, никто в это не поверит! Наши бравые заготовщики в считанные минуты съедают вдвоём то, что положено по норме для двенадцати. Бачок каши с мясом, двести сорок граммов масла, около тридцати кубиков сахара, и ещё там чего… Что не вошло в живот – рассовали по карманам, что-то передали соседнему столу… Каково было их удивление, когда к опустошённому столу прибежало опоздавшее отделение, задержавшееся в казарме по причине «неудовлетворительного равнения коек». А приказ начальника училища был строг и неукоснительно всеми выполнялся. В том числе и поварами. Никаких добавок! Пусть привыкают к норме!

Картинка. Рота в строю. Перед ротой два заготовщика. Один громадного роста, другой ему под мышку, но оба с тугими округлыми животами. Им страшно посмотреть товарищам в сверкающие голодным, почти волчьим, блеском глаза, они смотрят на носки своих сапог, стараются их увидеть. Командир взвода, поправив тесный воротник под галстуком, обращается ко всей роте:

– Товарищи курсанты! Кто ещё не знает, что бачок каши на двенадцать человек?

Этот вопрос-назидание прижился в нашей роте надолго, может быть, даже до окончания училища. По поводу и без повода слышалось то тут, то там: «Кто не знает, что бачок каши…» Как наши заготовщики пережили это и не застрелились, одному Богу известно. Наверное, только потому, что оружия нам ещё не дали.

Жили мы в палаточном городке недалеко от гражданского аэродрома, привыкали к рёву моторов. Временами казалось, что на нас падает самолёт. Привыкли быстро и спали как убитые, не слыша никаких звуков, не ощущая перепонками и кожей вибраций воздуха. Всё бы ничего, да тесновато было в палатке. Особенно во время команды «Подъём!» все соскакивали, как ошпаренные. Прыгали в штаны, совали ноги в сапоги, и через две минуты должны все быть в строю. Чтобы не огорчить командира и сделать всё как он хочет, мы стараемся изо всех сил. Но сил тут одних только недостаточно. Бывают непредвиденные обстоятельства, через которые не перепрыгнешь, будь ты хоть и семи пядей во лбу. Попробуй, к примеру, натянуть на ногу сорок пятого размера сапог тридцать девятого. Это только в сказке про Золушку возможно!

– Курсант Бойко, за опоздание в строй – наряд вне очереди! – сообщает «радостную» новость командир взвода великану Бойко, который отличился ещё заготовщиком.

– Да вот, сапог не мой! – Суёт Бойко сапог в лицо командиру, надеясь вызвать у того понимание и сочувствие.

– Два наряда вне очереди! – слышит в ответ.

А в это время его закадычный друг Агеев никак не может выровнять в строю разновеликие сапоги: свой тридцать девятого размера и сапог друга – сорок пятого, прихваченного в суматохе освоения азов воинской службы.

Изучаем «Настольную книгу офицера» – Уставы Советской Армии. Мы стоим на самом солнцепёке, солнце катается по нашим стриженым головам, частично прикрытым пирож-

ками-пилотками, а рядом, в трёх шагах, тень от леса. Пот стекает по шее, спине, ещё ниже, сливается в сапоги. Хочется пить. Ещё мгновение, кажется, – и рухнешь замертво. Так и есть. Кто-то вывалился из строя. Командир, не сходя с места, кивком головы показывает на лежащего:

– Отнести в тень! Расстегнуть две верхние пуговицы!

Пример заразителен. Оседает ещё один воин, не перенесший малых тягот службы. Командир, посмотрев на небо, на солнце, презрительно на нас, горе-воинов, командует:

– Три шага назад, марш!

Эти три шага отделяли тень от солнца.

Пролетели жаркие денёчки, наступил октябрь, а вместе с ним пришли снег и холода. Мы всё так же ночуем в летних палатках, а на занятия ходим в учебные корпуса. В палатке не теплее, чем на улице. Спим попарно. Это позволяет иметь на себе не одно, а два одеяла, две шинели, две простыни, тепло от друга… Зарядка по пояс голыми. Бежим по лесу, на ветках которого шапки снега. Шутники из впереди бегущих сильно бьют по дереву ногой и продолжают свой бег, как ни в чём не бывало, а на голые бледно-синие тела замыкающих строй падает снежная лавина. Закутанные в тёплые платки и телогрейки бабы, бредущие на рынок через лес с бидончиками молока, останавливаются, горестно качают головами и сокрушаются:

– Бедные деточки, как же над вами издеваются эти изверги!

Умывание холодной водой по пояс, растирание жёстким, как наждак, полотенцем. Если б кто знал, как не хочется лезть под ледяную струю! Но надо. Надо хотя бы потому, чтобы не получить пресловутый наряд, каких у командиров запас немереный, и они раскидывают их налево и направо, как щедрые сеятели зерно на ниве. Командир в сторонке, но он всё видит, всё слышит. Слегка обмакнувшихся хитрецов, он одним движением отправляет под тот кран, из которого сильнее всего хлещет обжигающая струя. Руки, как грабли, с негнущимися пальцами. Ими ничего нельзя сделать, даже крючки на шинели не застегнуть. Помогаем друг другу, как можем. По дороге к столовой согреваемся, а позавтракав, боремся со сном на занятиях. Чтобы курсант не уснул, все за этим следят. Преподаватели, командиры отделений, помощник командира взвода, командир взвода, командир роты. Два последних от случая к случаю заглядывают в глазок, и тут же наказывают нерадивых подчинённых и журят небдительных младших командиров. А спать так хочется! Набегавшись, напрыгавшись, намёрзшись, сомлев от жары и калорийной пищи, организм в твоём теле отказывается тебе повиноваться, он требует отдыха, требует крепкого здорового сна. И только после вечерней проверки, заслышав команду: «Отбой!», – голова на половине пути до подушки уже спит. Какой-то миг до команды: «Подъём!» И опять всё закрутилось, завертелось…

Лагерная жизнь позади. Мы живём в казармах, освободившихся после выпускников. Потолки высоченные, стены метровые, сложены из красного кирпича, раствор кладки таков, что случайно прилепившуюся к кирпичу сбоку капельку не оторвать уже ничем. А этим казармам, дай Бог, больше сотни лет. Царских времён они. Здесь было когда-то юнкерское училище. А теперь вот мы, дети рабочих и крестьян, челяди, одним словом, живём в этих казармах, учимся в этих классах, в которых жили и учились сынки вельмож. Возможно ли было такое в то, царское, время? Едва ли. Только разве, когда надо было защищать страну, богатства чьи-то. Тогда таким, из низших сословий, предоставлялась возможность проявить героизм и получить офицерский чин. Нет, не учили их при этом разным наукам, кроме как убивать себе подобных, не учили философии (опасно), танцам, целованию ручек (не до того, война ведь). Да и ни к чему это сиволапым простолюдинам, тем более, что всё равно посылать их на верную смерть. До танцев ли тут, до философских ли размышлений. Вручали погоны и: «Вперёд! За веру, царя и отечество!»

Да, всё идёт по кругу, и нет никакой спирали в жизни человечества. Сплошной, жёсткий и жестокий порочный круг. И человек сам по себе абсолютно неизменное существо. Каким он был в шекспировские времена, во времена Гомера и ещё дальше, когда шкуры носил и гонялся

за мамонтом с каменным топором, таким он и остался по сей день. Внешне, конечно, он отличается. Опыт предков и окружение подсказывают ему образ действий, но образ мысли, суть свою, человек изменить не может. Они всегда при нём, и в нужный для него момент проявятся в полной мере. И впредь будут коварные Яго, доверчивые Отелло. Богатые будут жиреть, а бедные будут работать на них и, не жалея живота своего, биться на поле брани с такими же обманутыми всетерпцами, защищая чужие миллионы. Нужный лозунг для этого всегда изобретут, в изобретателях такого рода никогда не было недостатка.

Учиться было легко и интересно. Всё в новинку. Многие преподаватели прошли войну, имели боевые награды. Их рассказы о войне слушались с упоением. Подполковник кафедры тактики ВВС рассказывал, как он вместе с другими лётчиками Ил-2 штурмовал высоту, как немцы расстреливали их в упор. Вся высота была утыкана хвостами самолётов.

Врач Левченко никогда не пытался разогнать дрёму у курсантов, его это, казалось, меньше всего интересует: хочешь слушать – слушай, не хочешь – Бог с тобой, не слушай. Но его монотонный голос всегда привлекал внимание.

– Дежурил я как-то по санчасти, – ни на кого не глядя, бубнил он, рассказывая о вреде алкоголя и случайных связей, – и в конце смены вызвали меня к одному пациенту, ему друг ухо в драке оторвал. Жена умоляла пришить обратно ухо, очень уж некрасиво оно висело на шкурке. Пришил я его крепкими нитками. Все обрадовались, подёргали, убедились в надёжности моей работы, принесли бутылку водки и налили мне полный стакан. Выпил я и тут же упал на пол, привезли меня домой на санках хозяин с пришитым ухом и его друг. Проспался я и не стал алкоголиком. А вот мой сосед, начальник ГСМ, каждый день утром и вечером выпивал по стопке спирта, а через год оказался в психушке. Зелёненькие бесенята одолели.

О венерических болезнях рассказывал так:

– Была у нас в полку красавица-пулемётчица. Гоняла на мотоцикле, как чёрт. За нею увивались кавалеры косяками. Приходит она как-то к хирургу и показывает прыщик на губе. Хирург посмотрел и говорит: «Надо губу отрезать. Положение безвыходное». Она в обморок. Вылечил я её, и губу оставил на всякий случай.

Любили мы слушать байки и разные истории из жизни училищного начальства. О самом начальнике училища больше всего рассказывали нам старшекурсники. То наш генерал, он же и начальник гарнизона, отчитывал начальника госпиталя за то, что сёстры колют его толстыми и тупыми иголками, – для генерала не могут найти тонкую, видите ли. То учил госпитального повара оригинальному блюду. «Почистите картошку, высверлите середину, – подражал генералу рассказчик, – и туда натолкайте мяса. Потом в печь». Господи, как интересно было слушать об этих чудачествах генерала нам, кто знал картошку отварную, жареную и ещё в мундире, – не до выкрутасов было нашим измотанным непосильным трудом матерям. А тут: высверлить и напихать!

Смешно было слушать, как генерал посадил на гауптвахту своего сына-капитана, приехавшего к нему в гости.

О коменданте училища с армянской фамилией анекдотов было больше, чем про всё армянское радио.

Старшекурсники учили нас пользоваться на экзаменах подручными средствами, именуемыми в курсантской среде просто шпаргалками. Да и в школе, университете и в академии они так же называются. Шпаргалка она везде шпаргалка. Были у нас такие мастера шпаргалочного дела, закачаешься! Отвечая преподавателю за столом, они умудрялись читать шпаргалки, а списывать, стоя у доски, было для них проще простого. Шпаргалки здорово помогали. От одного коллеги я услышал его признание: «Только из шпаргалки на экзамене по марксизму я узнал, – говорил он, хитро прищурившись, – что Дюринг – это фамилия».

В увольнение с тройками нас не пускали. У меня троек не было, но с дисциплиной случались промашки, а это в армии ещё хуже тройки. Тем не менее, в увольнении я бывал довольно

часто. В нашем классном отделении было два курсанта, которые за три года не ходили ни разу в увольнение – так трудно им давалась наука. В практических работах они не только не уступали отличникам, а часто и превосходили их, а вот теория им отказывала покоряться. Это были люди-практики.

Были, естественно, и очень грамотные, смышленые курсанты. Не могу не назвать Пашу Бачурского, москвича. Выправки никакой, одна эрудиция.

– Паша, ты умный, объясни мне, почему этот толстый и большой, – показываю я на снимок в газете, – поёт тенором, а этот, с длинной худой шеей, поёт басом? Должно быть наоборот.

И Паша со своей характерной усмешкой, возвышающей его и в то же время не унижающей собеседника, объясняет строение голосовых связок, порядок движения воздуха в гортани.

Паша знал всё! Спроси его о лопате, и он расскажет, что лопату делают под прессом, материал – инструментальная сталь марки Ст3. Лучшие лопаты, заверит, были из крупповской стали. О балете прочитает целую лекцию. Поведает, что русский балет появился при царе Алексее Михайловиче, создавал его Жан Батист Ланде. А потом, при Александре III, даст новую жизнь балету всем известный Мариус Петипа, приехавший в Россию летом в меховой шубе и с пистолетами за поясом для защиты от медведей, якобы бродивших по заснеженным улицам Петербурга и Москвы. Отдаст должное каждому по заслугам: Истомина и Телешова, блиставших во времена Пушкина, Тамара Карсавина и Анна Павлова – в начале XX века, не забудет о Русских сезонах Сергея Дягилева, покорявших Запад и Америку, и ещё многое-многое будет упомянуто им с упоением и восторгом.

В одном Паша сомневался – в бесконечности вселенной. Но это ему можно простить. Сам Эйнштейн не избежал этого заблуждения! «Глупость людская и вселенная – бесконечны, – утверждал гений и тут же добавлял: – Хотя в последнем сомневаюсь».

Публика была «разношёрстной». Большинство от сохи, от станка. Немного из интеллигенции, совсем мало из тех, кто у руля громоздкой государственной машины.

Большинство, и я в том числе, были полными профанами во многих вопросах. Коварная сиволапость только того и ждала, чтобы выставить тебя в самом неприглядном виде в самом неподходящем месте. Долгое время я считал, что нассесер – это видный партийный деятель, естественно, коммунист, из Египта или Алжира. Не знал, что плёнка на сыре из парафина. А ещё считал, что все руководители партии и правительства только тем и заняты, чтобы сделать народ счастливым… Безрассудно верил в это и во всё другое, что видел и слышал… Святая наивность!

Было много хороших спортсменов. Мастеров, перворазрядников. К ним у нашего начальства было благоговейное отношение – они на многочисленных спортивных состязаниях защищали честь училища! Физической подготовке уделялось первостепенное значение. Кроссы на семь, десять километров с полной выкладкой летом и зимой, лыжные соревнования на десять и тридцать километров. На тридцать километров отбирали наиболее подготовленных. Довелось и мне участвовать в этих гонках. Запомнилась одна, когда у меня оказалась не подогнанная лыжа, и она всё время норовила выскочить из лыжни. Два, три, ну, пять километров, бросать её на место, куда ещё ни шло, но тридцать! Я был вымотан до предела. Где-то в середине трассы я думал, что жизнь моя на этом и закончится, – слава Богу, обошлось. А вот командиру нашего взвода, украинцу, с лыжами знакомому коротко, этот кросс стоил ампутации пальцев обеих ног.

Были и радиолюбители. Они собрали проигрыватель, и после подъёма кто-нибудь быстренько включал его, и тогда мелодичное танго «Дождь идёт» нашей единственной пластинки, стоившей десятков других, ублажало наш слух.

Были шутники. Они изводили преподавателей своими «необыкновенными» познаниями во всех областях науки. На выходе в поле, определяя расстояние до объекта, убеждали преподавателя топографии, что отдельно стоящее дерево имеет высоту сто двадцать метров.

– Где вы видали такое дерево?! – топал ногами преподаватель, удивляясь «тупости» курсантов.

На вопрос: «Что имел в виду Ленин, когда говорил, что не надо бояться человека с ружьём?», курсант Попов, наморщив лоб, изображая глубокомыслие, отвечает:

– Владимир Ильич Ульянов-Ленин говорил так, потому что солдатом был крестьянин, переодетый в серую шинель…

– Хорошо, товарищ курсант, – кивает согласно головой, довольный началом ответа преподаватель.

– А какой может быть солдат из крестьянина, всем известно: он может затвор потерять, в стволе шомпол забыть или патроны на самогонку променяет, – неожиданно заключает Попов. У преподавателя глаза лезут на лоб, лицо перекошено, губы дёргаются.

– Тебе надоело быть в училище! – выговаривает Попову наш командир роты. – Ты не знаешь, чем могут обернуться подобные шуточки!

Всё бы ничего: уже привыкли к норме питания, спим в тепле, ежедневно, ежечасно испытываем заботу наших отцов-командиров, они на день три раза заставляют нас менять подворотнички, учат прыгать перед обедом до изнеможения через «козла» и «коня», всё так же щедры на наряды, да вот тоска по дому заедает. Как хочется обнять маму и отца, приласкать мелюзгу, братишек и сестрёнок, зря я их всё же наказывал строго. Ничего же такого они и не делали, чтобы их наказывать. Ну, подрисовывали в моих книгах знаменитостям кому круглые очки, кому усы и бороду, так это же совсем не плохо, развивали художественный вкус. Выдёргивали из грядки морковку и обратно всовывали туда, если какая им не нравилась – сам виноват, – не объяснил раньше, что так делать нельзя. Чрезмерно драчливы и шумливы? Сам-то разве не таким был?

А до отпуска ещё двести восемьдесят пять компотов!

Первой не выдержала разлуки мама. Она приехала ко мне с тётей Надей. Вызвали на КПП, где мама долго целовала меня и плакала. А мне было стыдно перед дежурными курсантами, перед проходившими мимо офицерами. Дежурный офицер сказал, что мама с тётей Надей могут пройти в ленкомнату роты и там побыть со мной. Опять стыдно перед своими товарищами за маму и тётю, что так бедно они одеты. Это пример того, как неверна, лжива пословица: «Бедность – не порок». Бедность – большой порок, и придумана эта пословица богатыми, чтобы успокоить миллионы бедных. Бедный ограничен во всём, кроме мыслей. А мысли в этом положении приходят разные, в том числе и не совсем удобные для богатых.

Как мне мешала эта бедность! В раннем детстве я её не замечал. Штанишки с одной лямкой через плечо, выгоревшая на солнце ситцевая рубашонка, босые быстрые ноги меня вполне устраивали. И с любовью было просто: дёрнул за косичку, саданул, пробегая мимо, по спине кулаком, в ответ услыхал желанное: «Дурак!» – вот и вся любовь! Но я подрастал, росли и множились мои беды. Мне уже пятнадцать, а может, и все шестнадцать, я недурён лицом и статью, не глупец, уже ловлю на себе взгляды ровесниц, но мои разбитые вдрызг башмаки, потёртые до дыр штаны напоминают всё чаще и чаще, что я не сказочный принц и никакой не романтический герой, что робкий поцелуй сорвёшь не ты, а тот, у кого новые кирзачи с отворотами, с заправленными в них шикарными «магазинными» брюками-клёш. Классическая красавица, царственно величавая Лиля Казанцева, изящная Тамара Седых, голубоглазая Нина Михалёва, шустрая, с острыми и быстрыми глазами соболя Лида Иванова, с загадочной милой улыбкой Капа Кокорина, застенчивая Ира Петрова, Катя Цуканова – все мне были милы, и все были далеки от меня…

Старшина роты порадовал маму моими успехами в учёбе и огорчил (во всяком случае, мама сделала такой вид, к этому она была, думаю, привычной ещё со школьных родительских собраний) сообщением о моей непоседливости, склонности к нарушению дисциплины.

Для мамы было бы новостью услышать противоположное, и всё же она попросила меня быть послушным и разумным.

Сущим адом для нас было стоять на посту в сорокаградусный мороз, когда всё трещало и скрипело. Тулуп из овчины до пят защищал от холода нисколько не лучше, чем цыгана рыболовная сеть. Ноги в валенках начинали мёрзнуть с пальцев, и чтобы спасти их от обморожения приходилось вытягивать помаленьку в менее настывшее место. К концу смены мы стояли почти босиком на снегу, высунув ноги на край голенища. К этому ещё надо добавить боязнь прозевать вездесущих коварных диверсантов, которые спят и видят, как бы уничтожить охраняемый тобой важный объект – склад с квашеной капустой и солёными огурцами. Кое-кто под разным предлогом старался избежать участи мёрзлого часового, но это было опасным занятием, ибо вызывало презрение у коллектива. Боязнь оказаться неправильно понятым, заставила меня однажды, в самые суровые морозы, отказаться от санчасти, а у меня была температура под сорок, и я шёл на пост, практически ничего не воспринимая, ничего не видя.

В Иркутске было много институтов, техникумов, училищ, и наше командование, политотдел связывали дружбой курсантов и студентов. Наша рота «дружила» с мединститутом. Мы их приглашали на вечера и праздники, а они нас. До свадеб дело не доходило, наверное, потому, что очень уж молоды мы были. И по выпуску никто почти не женился.

С выпивками было очень строго. По-моему, нужды выпить ни у кого и не было. Иногда выпивали те из нас, кто был постарше, кто уже поработал на заводе или стройке. Но таких было единицы. Был у нас один печальный случай, когда курсант с горя, что его оставила любимая девушка, выпил стакан водки, уснул где-то на лавочке и опоздал из увольнения. Его судил трибунал и отправил в тюрьму. Но, к счастью, через несколько месяцев, вышел закон, не так строго судивший самовольщиков. Курсант вернулся в училище. Вообще, какой-то парадокс получается с этой выпивкой: курсанту и капли нельзя, а с получением офицерских пагон вчерашний курсант имеет право свободно, не боясь наказаний, посещать рестораны, пить водку, играть в карты.

Вот и первый отпуск. Как мы его ждали! Особенно тревожными были последние дни. Трещат по ночам пружины кроватей, не могут уснуть курсанты. Каждый думает, как его встретят родные, близкие, друзья, любимые. А тут ещё экзамены не все сданы. Самый страшный экзамен по физической подготовке. Тут никакая шпаргалка не поможет. Так оно и получилось. Троих сбросил в пропасть неудач упрямый деревянный «конь». Один из таких неудачников рассказывал потом:

– Сижу я в курилке, такая тоска! Вы все поразъехались, в казарме пусто. Закурил. Смотрю на эту сволочь, на «коня», и дико его ненавижу. Бросил окурок, разбежался и перепрыгнул. А что толку? Паровоз-то ушёл!

И вот настал тот день, когда я на попутной машине приехал домой. Я иду по улице с маленьким чемоданчиком в руках, в нём простенькие подарки. Улица почему-то сузилась и укоротилась, и мост совсем не мост через реку, а дощатый мосточек через мутный ручеёк. На этом мосточке мы с сестрой Лизой, как фокусники, быстро менялись одеждой: кто бежал из нас в школу, тот надевал трофейный немецкий китель, а кто домой – старенькую стёганую телогрейку. Всё хорошо было до той поры, пока мы учились в разные смены. Потом почему-то, не спросив нашего с Лизой согласия, нас свели в одну смену, и этим самым чуть не лишили Лизу занятий в школе. Получилась такая история. Утром, быстро собрав книги, я выбрал момент и, не замеченный, выскочил за дверь с припрятанным под рубашкой фашистским кителем. Лиза наотрез отказалась идти в школу в телогрейке даже с таким родительским наказом, что разденет меня в школе и вдобавок надерёт уши. И тут выяснилось, что она почти взрослая девушка, и ходить ей в огромных отцовских кирзовых сапогах и немецком мундире вроде бы и непристойно. После школы я получил хорошую головомойку, она была, конечно, лишней, потому что я и без того понял, что совершил большую подлость. Этот случай помог Лизе – ей

купили кое-какие вещицы, а я остался полноправным хозяином трофейного мундира, ушитого в талии.

Купили после того, как меня отец отправил на иркутский базар с пятью мешками картошки. Отвёз меня наш бывший сосед Валентин Алексеев. Тот самый, которого убили браконьеры в лесу под Иркутском. Вместе с ним были жестоко расстреляны студенты охотоведческого факультета Иркутского сельскохозяйственного института. Об этом сначала я узнал из газеты, когда служил в Польше, а потом в письме мне подробности сообщила сестра Лиза.

Выгрузил Валентин меня с картошкой у прилавка и уехал. Проходит час, другой, третий, а картошку мою не покупают. У других берут, а у меня – нет. Ведёрка два продал – и всё. Сбросить бы цену, да отец наказал не спускать…

Закончился короткий весенний день, опустел базар, и на этом базаре у прилавка я один со своей картошкой. Мне тринадцать лет, мужик, а придумать ничего не могу!

Густые сумерки закрыли поле базара, холодает.

Подошёл сторож. Спросил, что да как. Подумал и предложил перетаскать мешки с картошкой к нему в сторожку – иначе хана ей, помёрзнет. Перенесли. Напоил чаем. Уступил местечко для сна у печки. Утром помог доволочь мешки до прилавка. Не помню, почему, но картошку я продал в течение короткого времени, наверное, сбросил цену.

Самое печальное в этой истории: я же ведь никак не отблагодарил этого доброго человека. Может быть, даже и спасибо не сказал! Обрадовался свалившейся на меня удаче и укатил на попутке домой!

В этом ручейке я когда-то купался с пацанами до одури, до синевы в губах. Эту мутную воду таскал для полива огорода десятками вёдер. После этих вёдер руки, как у обезьяны, до земли, и только к утру укорачивались до своих размеров, чтобы днём опять удлиниться.

Натаскавшись воды, встретив корову и телёнка, незаметно присосавшегося к материнскому соску, накопав картошки, сидим с сестрёнкой (ей года два-три) у костра. На костре варится картошка. Остро отточенной палочкой пробую готовность картошки, в глаза мне заглядывает сестра и тянет руки. Дую на картошку, перекидывая с руки на руку, а потом подаю девочке.

Приходят при полной уже темноте уставшие родители, гремят косами, граблями. Мама идёт доить корову, наполовину опустошённую телёнком, при свете керосиновой лампы ужинаем и идём спать. Я недолго слушаю сверчка за печкой, меня побеждает крепкий, плотный, как сама летняя ночь, сон… Так было совсем недавно.

Вхожу в избу. В ней никого нет, а дверь, как и при мне, не запирается на замок. Закрывай, не закрывай, всё равно воровать нечего. Удивляют размеры избы: потолок у самой головы, прихожая – два шага вдоль, два шага поперёк.

Слышу торопливые детские шаги, переступив порог, распахнув во всю ширь глазёнки, дети, сбившись в кучку, смотрят на меня. Расталкивая их, вбегает мама. Она обнимает, целует меня и плачет, что-то приговаривая…

Дети сбегали и сказали отцу, что я уже дома. Пришёл. Закрывает неторопливо калитку, повернулся ко мне спиной. Во всю спину тёмная заплата. Штаны тоже в заплатах. Едва ли у него есть другие, во всяком случае, при мне их не было, как и у мамы выходного платья. Откуда этому быть, если я пересылал им на соль и керосин копейки из своей курсантской стипендии! Колхоз же регулярно награждал отца грамотами за ударный социалистический труд.

Трудное было время.

Боль за страдания родителей сжигала моё сердце, я понимал, что их счастье в нас, в детях, и старался не огорчать, насколько это возможно. Уже после училища, когда я был далеко от родных, пришли на ум слова, попытался их изложить в стихотворной форме:

Вся жизнь в поту, крови, слезах,

Такими только помню вас…
Одни заботы у простых людей:
Забота прокормить детей,
Забота дать им счастье.
В жару забота и в ненастье.
Забота вечером и днём,
Забота с хлебом и огнём.
И всюду вечные несчастья…
Тяжёлый век на ваши плечи лёг,
И другой жизни час далёк
Для вас, простые мученики света.
Какого можете дождаться вы ответа
От жизни щедрой не для вас?

Я не считаю это поэзией, просто выплеснулось из глубин души то, что накопилось за двадцать лет моей жизни.

Остальное – ещё мрачней.

Отец неуклюже обнял меня. Небритые щёки колючи. Плечи и спина сутулы и костлявы. Ладони мозолисты и огромны, в тёмных пятнах смолы… Щёки впалые, у рта глубокие морщины. Старик в сорок четыре года…

Забежала молодая соседка не то за солью, не то за спичками, зыркнула по мне чёрными раскосыми глазищами и убежала.

– Надо ей эти спички, – не поверил ей отец, – бабское любопытство.

Я спросил, куда уехали прежние наши соседи, Макаревичи.

– Нинка забрала мать в Иркутск, Васька опять сидит, – ответила мама из кухни-закутка, где она уже гремела посудой.

– А что слышно о Володьке?

– Вроде бы погиб где-то на Севере. Но толком никто не знает.

Володька был моим старшим другом. Разница в возрасте у нас была лет пять, большая разница, если тебе восемь или даже десять лет. У меня не было старшего брата, который бы защищал меня, был бы моей опорой, часто это делал Володька.

Братика моего Мишу я знаю только по рассказам мамы. Он умер через две недели после моего рождения, на Покрова, как говорила мама, а было ему около трёх лет. Скарлатина. Лекарь посмотрел на него, лежащего на телеге, и сказал маме, что поздно, что уже ничего сделать нельзя. На половине дороги домой он умер на руках у мамы. Мама часто вспоминала его и говорила, что это был очень смышлёный мальчик. Осталась фотография, где он стоит босой, в коротких штанишках с одной лямкой через плечо, прижавшись к маминой ноге.

Это в книгах да кино врачи делают чудеса, наяву же они часто равнодушны и бессильны. Да и диагноз под большим вопросом. Будь эта скарлатина на самом деле, то нас бы с сестрёнкой она едва ли выпустила из своих когтей, ведь и понятия тогда не было у наших родителей, как защищаться от этой напасти. Скорей всего мальчишку задушила элементарная ангина, от которой можно и нужно было спасти. Если же прав был сельский эскулап, в чём я очень сомневаюсь, то остаётся благодарить Бога за дарованную нам с Лизой жизнь.

Когда я вырос, то мне рассказали, как тогда плакала моя бабушка Мартося и приговаривала: «Лучше бы гэтот умер». Я на неё не в обиде, а всё чаще кажется, что так было бы и лучше. Сравнение с братом не в мою пользу. Он был смышлёный, общительный и щедрый мальчик. У него все были близкими друзьями: и дядя Тимофей, дававший подержать свою трубку, и неродной дед Яков, отвечавший на бесчисленные вопросы внука около ямы, где тлел уголь для кузни. Умирающий от удушья, он отломал и дал своей сестрёнке половину бублика, куплен-

ного ему по случаю болезни. Я же был стеснительным ребёнком, собственно, таким оставался долгие годы; друзей у меня – раз-два и обчёлся, и стремления иметь их много не замечаю за собой и сейчас. Лучшее для меня – одиночество. Я полон противоречий, часто испытываю неудовлетворённость в своих делах, иногда хочется всё оставить и оказаться в какой-нибудь «непролазной глуши», но и там едва ли надолго я задержался бы. Да видно не избежать было нам с братом своей судьбы, не изменить.

С Володькой всегда было интересно, и я следовал за ним, как на верёвочке. Он почему-то не ходил в школу, и всё равно выгодно отличался от других своих сверстников. Был выдумщик и хулиган.

Как-то я сидел рядом с ним и наблюдал за его работой, она была не из простых – он брил старую шубу. Делал всё, как надо: намыливал помазком шерсть и брил настоящей бритвой.

– Зачем ты это делаешь? – спросил я его.

– Хромачи шить будем, – ответил он вполне серьёзно.

Его старший брат, Васька, в то время, когда не сидел в тюрьме, что было редкостью, делал всё, чтобы были деньги. Не подумайте, что он вкалывал в колхозе или на производстве, зарабатывая тяжким трудом уважение и копейки, – трудовой энтузиазм отсутствовал в нём изначально, генетически. Апофеоз коллективного социалистического труда во славу Родины, на благо народа, не касался его ну никаким боком. Он здорово рисовал. Русалки на пруду у него получались как живые, да и лебеди тоже. По бедности эти картины из наших земляков никто не покупал, Васька сбывал их в Иркутске на барахолке зажиточным горожанам. Там же он продавал модникам отличной работы «хромачи». Вид их был сногсшибательный! Только сапог этих хватало на один выход, да и то, если не было дождя. В дождь подмётки из картона сразу же переставали быть подмётками, и из расползшейся ветхой шкуры выглядывали пальцы с грубыми жёлтыми ногтями.… Ваську за это били, но не смертным боем, как его отца, тоже Василия. Старшего Василия били за кражу буряты. Они проломили ему череп безменом. Выжил, а вмятина с доброе яйцо осталась на всю оставшуюся жизнь. Недолгую. Умер он от чахотки. Я помню его хорошо. Как-то он спросил меня, зачем я хожу в школу, и сказал, что напрасно это делаю, всё равно буду задрипанным колхозником, как и мой отец. «Министром ты не будешь никогда», – сказал он, и оказался прав в своём конечном выводе.

Так вот, сидим мы с Володькой, а в дом влетает цыганка. Глазами по углам, по столу, по полкам, и с ходу:

– Красавчики, а дайте, вам погадаю! Скажу, что было, что будет, чем сердце успокоится.

– Что было – знаю, что будет – узнаю, – сказал Володька. – А тебе подскажу, где можешь хорошо поживиться. Третий дом от нас, там живут Чубыкины. Они сегодня быка закололи, у них болеет старший сын Федька, у дочери, Лидки, в городе спёрли чемодан, и сам Чубыкин на ладан дышит.

Цыганку, как волной смыло. Минуя все дворы и избы, она вбежала во двор Чубыкиных. Мы с Володькой долго ждали её, сидя на завалинке. Наконец, согнувшись под тяжестью поклажи на спине, показалась она, оглянулась по сторонам и помчалась прочь. Самого младшего Чубыкина, Кольку, мальчишку с огромными лошадиными зубами, мы заметили у калитки и позвали к себе, спросили, что у них делала цыганка?

– Всю правду сказала, – взахлёб отвечал нам Колька, клацнув зубами. – Она вошла и сразу же сказала: «У вас бедой в доме пахнет. Я помогу вам!» Бросила карты и сказала, что у нас кто-то на букву «Фэ» тяжело больной, у женщины, сказала, украли одёжу. Это у Лидки. А «Фэ» – это же наш Федька! Он же ранетый у нас! Потом они с мамкой жгли какие-то волосья, чтобы выгнать беду из избы. Вот!

– Что-нибудь ей дали за это? – задал нелепый вопрос Володька, потому что и без ответа было видно, как щедро наградила гадалку Чубычиха.

– Мамка ей целую ногу отдала. Она сказала, что и завтра ещё придёт.

Был праздник, по-бурятски называли его кто Хурхарбан, кто Сурхарбан. На этом празднике были скачки на лошадях, спортивные состязания в беге, в прыжках в длину и высоту, естественно, национальная борьба, поднимание гирь… Конечно же, наше с Володькой место было там. По такому случаю он оделся в костюм брата – Васька был в отъезде со своими картонными сапогами и русалками, – залихватски сдвинул на затылок шляпу, тоже Васькину, в руки взял тросточку, понятно чью. И вот мы шествуем от группы к группе, от номера к номеру.

Бегуны на пять километров заканчивают забег. Впереди парень из русских. Он бледен, челюсти его плотно сжаты, у всех других, как у щук, выброшенных на берег, широко раскрыты черные пасти.

– Этот парень хитрый, – слышу я за спиной. – Он носовой платок в рот засунул, чтобы дыхалки хватило.

И, правда, этот парень, прибежав первым, выдернул изо рта тряпку. Вот теперь я думаю, не заткни он себе рот, так на круг бы обошёл всех. Но и так здорово!

Проходя мимо соревнующихся в прыжках в высоту, Володька разбежался коротко и перемахнул через планку, как был: в костюме, шляпе и с тросточкой в руках. А эту высоту никто не мог взять даже в одних подштанниках. Ответственный за этот участок бросился со всех ног за Володькой, убеждая его, что без шляпы и тросточки он займёт первое место и получит приз. Володька на это и ухом не повёл.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.